

ВОЛНЫ
ЧЕРНОГО МОРЯ

Тетралогия



Часть первая

БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ

1. ПРОЩАНИЕ

Часов около пяти утра на скотном дворе экономии раздался звук трубы.

Звук этот, раздирающе-пронзительный и как бы расщепленный на множество музыкальных волокон, протянулся сквозь абрикосовый сад, вылетел в пустую степь, к морю, и долго и печально отдавался в обрывах раскатами постепенно утихающего эха.

Это был первый сигнал к отправлению дилижанса.

Все было кончено. Наступил горький час прощанья.

Собственно говоря, прощаться было не с кем. Немногочисленные дачники, испуганные событиями, стали разъезжаться в середине лета.

Сейчас из приезжих на ферме осталась только семья одесского учителя, по фамилии Бачей, — отец и два мальчика: трех с половиной и восьми с половиной лет. Старшего звали Петя, а младшего — Павлик. Но и они покидали сегодня дачу.

Это для них трубила труба, для них выводили из конюшни больших вороных коней.

Петя проснулся задолго до трубы. Он спал тревожно. Его разбудило чирикание птиц. Он оделся и вышел на воздух.

Сад, степь, двор — все было в холодной тени. Солнце всходило из моря, но высокий обрыв еще заслонял его.

На Пете был городской праздничный костюм, из которого он за лето сильно вырос: шерстяная синяя матроска с пристроченными вдоль по воротнику белыми тесемками, короткие штанишки, длинные фильдекосовые чулки, башмаки на пуговицах и круглая соломенная шляпа с большими полями.

Поеживаясь от холода, Петя медленно обошел экономию, прощаясь со всеми местами и местечками, где он так славно проводил лето.

Все лето Петя пробегал почти нагишом. Он загорел, как индеец, привык ходить босиком по колючкам, купался три раза в день. На

берегу он обмазывался с ног до головы красной морской глиной, выцарапывая на груди узоры, отчего и впрямь становился похож на краснокожего, особенно если втыкал в вихры сине-голубые перья тех удивительно красивых, совсем сказочных птиц, которые вили гнезда в обрывах.

И теперь, после всего этого приволья, после всей этой свободы — ходить в тесной шерстяной матроске, в кусающихся чулках, в неудобных ботинках, в большой соломенной шляпе, резинка которой натирает уши и давит горло!..

Петя снял шляпу и забросил ее за плечи. Теперь она болталась за спиной, как корзина.

Две толстые утки прошли, оживленно калякая, с презрением взглянув на раздетого мальчика, как на чужого, и нырнули одна за другой под забор.

Была ли это демонстрация, или они действительно не узнали его, но только Пете вдруг стало до того тяжело и грустно, что он готов был заплакать.

Он всей душой почувствовал себя совершенно чужим в этом холодном и пустынном мире раннего утра. Даже яма в углу огорода — чудесная глубокая яма, на дне которой так интересно и так таинственно было печь на костре картошку, — и та показалась до странно-сти чужой, незнакомой.

Солнце поднималось все выше.

Хотя двор и сад всё еще были в тени, но уже ранние лучи ярко и холодно золотили розовые, желтые и голубые тыквы, разложенные на камышовой крыше той мазанки, где жили сторожа.

Заспанная кухарка, в клетчатой домотканой юбке и холщовой сорочке, вышитой черными и красными крестиками, с железным гребешком в неприбранных волосах, выколачивала из самовара о порог вчерашние уголья.

Петя постоял перед кухаркой, глядя, как прыгают бусы на ее старой, морщинистой шее.

— Уезжаете? — спросила она равнодушно.

— Уезжаем, — ответил мальчик дрогнувшим голосом.

— В час добрый.

Она отошла к водовозной бочке, завернула руку в подол клетчатой поневы и отбила чоб.

Толстая струя ударила дугой в землю. По земле покатались круглые сверкающие капли, заворачиваясь в серый порошок пыли.

Кухарка подставила самовар под струю. Самовар заныл, наполняясь свежей, тяжелой водой.

Нет, положительно ни в ком не было сочувствия!

На крокетной площадке, на лужайке, в беседке — всюду та же неприязненная тишина, то же безлюдье.

А ведь как весело, как празднично было здесь совсем недавно! Сколько хорошеньких девочек и озорных мальчишек! Сколько проказ, скандалов, игр, драк, ссор, примирений, поцелуев, дружб!

Какой замечательный праздник устроил хозяин экономии Рудольф Карлович для дачников в день рождения своей супруги Луизы Францевны!

Петя никогда не забудет этого праздника.

Утром под абрикосами был накрыт громадный стол, уставленный букетами полевых цветов. Середину его занимал сдобный крендель величиной с велосипед.

Тридцать пять горящих свечей, воткнутых в пышное тесто, густо посыпанное сахарной пудрой, обозначали число лет рожденницы.

Все дачники были приглашены под абрикосы к утреннему чаю.

День, начавшийся так торжественно, продолжался в том же духе и закончился детским костюмированным вечером с музыкой и фейерверком.

Все дети надели заранее сшитые маскарадные костюмы. Девочки превратились в русалок и цыганок, а мальчики — в индейцев, разбойников, китайских мандаринов, матросов. У всех были прекрасные, яркие, разноцветные коленкоровые или бумажные костюмы.

Шумела папиросная бумага юбочек и плащей, качались на проволочных стеблях искусственные розы, струились шелковые ленты бубна.

Но самый лучший костюм — конечно, конечно же! — был у Пети. Отец собственноручно мастерил его два дня, то и дело роня пенсне. Он близоруко опрокидывал гуммиарабик, бормотал в бороду страшные проклятья по адресу строителей «этого безобразия» и вообще всячески выражал свое отвращение к «глупейшей затее».

Но, конечно, он хитрил. Он просто-напросто боялся, что костюм выйдет плохой, боялся осрамиться. Как он старался! Но зато и костюм — что бы там ни говорили! — получился замечательный.

Это были настоящие рыцарские доспехи, искусно выклеенные из золотой и серебряной елочной бумаги, натянутой на проволочный каркас. Шлем, украшенный пышным султаном, выглядел совершенно так же, как у рыцарей Вальтера Скотта. Даже забрало поднималось и опускалось.

Все это было так прекрасно, что Петю поставили во второй паре рядом с Зоей, самой красивой девочкой на даче, одетой в розовый костюм доброй феи.

Они прошли под руку вокруг сада, увешанного китайскими фонариками. Невероятно яркие кусты и деревья, охваченные зелеными и красными облаками бенгальского огня, вспухали то здесь, то там в таинственной тьме сада. В беседке, при свечах под стеклянными колпаками, ужинали взрослые. Мотыльки летели со всех сторон на свет и падали, обожженные, на скатерть.

Четыре ракеты выползли, шипя, из гущи бенгальского дыма и с трудом полезли в гору.

Но еще где-то в мире была луна. И это выяснилось лишь тогда, когда Петя и Зоя очутились в самой глубине сада. Сквозь дыры в листве проникал такой яркий и такой волшебный лунный свет, что даже белки девочкиных глаз отливали каленой синевой, и такой же синевой блеснула в кадке под старой абрикосой темная вода, в которой плавала чья-то игрушечная лодочка.

Тут-то мальчик и девочка, совершенно неожиданно для самих себя, и поцеловались, а поцеловавшись, до того смутились, что с превеличенно громкими криками побежали куда глаза глядят и бежали до тех пор, пока не очутились на заднем дворе. Там гуляли батраки, пришедшие поздравлять хозяйку.

На сосновом столе, вынесенном из людской кухни на воздух, стояли: боценок пива, два штофа казенного вина, миска жареной рыбы и пшеничный калач. Пьяная кухарка в новой ситцевой кофточке с оборками сердито подавала гуляющим батракам порции рыбы и наливала кружки.

Гармонист в расстегнутой тужурке, расставив колени, качался на стуле, перебирая басовые клапаны задыхающейся гармоники.

Два прямых парня с равнодушными лицами, взявши друг друга за бока, подворачивали каблуки, вытаптывая польку. Несколько батрачек, в новых, нестиранных платках, со щеками, намазанными ради кокетства и смягчения кожи помидорным рассолом, стояли, обнявшись, в своих тесных козловых башмаках.

Рудольф Карлович и Луиза Францевна пятились от наступавшего на них батрака.

Батрак был совершенно пьян. Несколько человек держали его за руки. Он вырывался. Юшка текла из носа на праздничную, разорванную пополам рубашку. Он ругался страшными словами.

Рыдая и захлебываясь в этих злобных, почти бешеных рыданиях, он кричал, скрипя зубами, как во сне:

— Три рубля пятьдесят копеек за два каторжных месяца!.. У, морда твоя бессовестная! Пустите меня до этой сволочи! Будьте людьми, пустите меня до него: я из него душу выниму! Дайте мне спич-

ки, пустите меня до соломы: я им сейчас именины сделаю... Ох, нет на тебя Гришки Котовского, гадюка!

Лунный свет блестел в его закатившихся глазах.

— Но, но, но... — бормотал хозяин, отступая. — Ты смотри, Гаврила, не чересчур разорайся, а то, знаешь, теперь за эти слова и повесить могут.

— Ну на! Вешай! — кричал, задыхаясь, батрак. — Чего же ты не вешаешь? На, пей кровь! Пей!..

Это было так страшно, так непонятно, а главное — так не вязалось со всем этим чудесным праздником, что дети бросились назад, крича, что Гаврила хочет зарезать Рудольфа Карловича и поджечь экономию.

Трудно себе представить, какой переполох поднялся на даче.

Родители уводили детей в комнаты. Всюду запирали окна и двери, как перед грозой.

Земский начальник Чувяков, приехавший на несколько дней к семье погостить, прошел через крокетную площадку, вырывая ногами дужки, расшвыривая с дороги молотки и шары.

Он держал в приподнятых руках двустволку.

Напрасно Рудольф Карлович просил жильцов успокоиться. Напрасно он уверял, что никакой опасности нет: Гаврила связан и посажен в погреб и завтра за ним приедет урядник...

Однажды ночью далеко над степью встало красное зарево. Утром разнесся слух, что сгорела соседняя экономия. Говорили, что ее подожгли батраки.

Приезжие из Одессы передавали, что в городе беспорядки. Ходили слухи, что в порту горит эстакада.

После праздника, на рассвете, приезжал урядник. Он увез Гаврилу. Сквозь утренний сон Петя даже слышал колокольчик урядниковой тройки.

Дачники разъезжались.

Вскоре экономия совсем опустела.

Петя постоял возле заветной кадки под старой абрикосой, похлопал прутиком по воде. Нет! И кадка была не та, и вода не та, и старая абрикоса не та.

Все, все вокруг стало чужим, все потеряло очарование, все смотрело на Петю как бы из далекого прошлого.

Неужели же и море встретит Петю в последний раз так же холодно и равнодушно?

Петя побежал к обрывам.

2. МОРЕ

Низкое солнце ослепительно било в глаза. Море под ним во всю ширину горело, как магний. Степь обрывалась сразу.

Серебряные кусты дикой маслины, окруженные кипящим воздухом, дрожали над пропастью.

Крутая дорожка была зигзагами вниз. Петя привык бегать по ней босиком. Ботинки стесняли мальчика. Подметки скользили. Ноги бежали сами собой. Их невозможно было остановить.

До первого поворота мальчик еще кое-как боролся с силой земного притяжения. Он подворачивал каблуки и хватался за сухие нитки корней, повисших над дорожкой. Но гнилые корни рвались. Из-под каблуков сыпалась глина. Мальчик был окружен облаком пыли, тонкой и коричневой, как порошок какао.

Пыль набивалась в нос, в горле першило. Пете это надоело. Э, будь что будет!

Он закричал во все горло, взмахнул руками и очертя голову ринулся вниз.

Шляпа, полная ветра, колотилась за спиной. Матросский воротник развевался. В чулки впивались колючки... И мальчик, делая страшные прыжки по громадным ступеням естественной лестницы, вдруг со всего маху вылетел на сухой и холодный, еще не обогретый солнцем песок берега. Песок этот был удивительной белизны и тонкости. Вязкий и глубокий, сплошь истыканный ямками вчерашних следов, оплывших и бесформенных, он напоминал манную крупу самого первого сорта.

Он полого, почти незаметно сходил в воду. И крайняя его полоса, ежеминутно покрываемая широкими языками белоснежной пены, была сырой, лиловой, гладкой, твердой и легкой для ходьбы.

Чудеснейший в мире пляж, растянувшийся под обрывами на сто верст от Каролино-Бугаза до гирла Дуная, тогдашней границы Румынии, казался диким и совершенно безлюдным в этот ранний час.

Чувство одиночества с новой силой охватило мальчика. Но теперь это было совсем особое, гордое и мужественное одиночество Робинзона на необитаемом острове.

Петя первым делом стал присматриваться к следам. У него был опытный, проницательный глаз искателя приключений. Он был окружен следами. Он читал их, как Майн Рид.

Черное пятно на стене обрыва и серые уголья говорили о том, что ночью к берегу приставали на лодке туземцы и варили на кост-

ре пищу. Лучевидные следы чаек свидетельствовали о штиле и обилии возле берега мелкой рыбешки.

Длинная пробка с французским клеймом и побелевший в воде ломтик лимона, выброшенный волной на песок, не оставляли никаких сомнений в том, что несколько дней назад в открытом море прошел иностранный корабль.

Между тем солнце еще немножко поднялось над горизонтом. Теперь море сияло уже не сплошь, а лишь в двух местах: длинной полосой на самом горизонте и десятком режущих глаза звезд, попеременно вспыхивающих в зеркале волны, осторожно лежащей на песок.

На всем же остальном своем громадном пространстве море светилось такой нежной, такой грустной голубизной августовского штиля, что невозможно было не вспомнить:

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!.. —

хотя и паруса нигде не было, да и море ничуть не казалось туманным.

Петя залюбовался.

Сколько бы ни смотреть на море — оно никогда не надоест. Оно всегда разное, новое, невиданное.

Оно меняется на глазах каждый час.

То оно тихое, светло-голубое, в нескольких местах покрытое почти белыми дорожками штиля. То оно ярко-синее, пламенное, сверкающее. То оно играет барашками. То под свежим ветром становится вдруг цвета индиго, шерстяным, точно его глядят против ворса. То налетает буря, и оно грозно преображается. Штормовой ветер гонит крупную зыбь. По грифельному небу летают с криками чайки. Взбаламученные волны волокут и швыряют вдоль берега глянцевиное тело дохлого дельфина. Резкая зелень горизонта стоит зубчатой стеной над бурными облаками шторма. Малахитовые доски прибора, размашисто исписанные беглыми зигзагами пены, с пушечным громом разбиваются о берег. Эхо звенит бронзой в оглушенном воздухе. Тонкий туман брызг висит кисеей во всю громадную высоту потрясенных обрывов.

Но главное очарование моря заключалось в какой-то тайне, которую оно всегда хранило в своих пространствах.

Разве не тайной было его фосфорическое свечение, когда в безлунную июльскую ночь рука, опущенная в черную теплую воду, вдруг озарялась, вся осыпанная голубыми искрами? Или движущиеся от-

ни невидимых судов и бледные медлительные вспышки неведомого маяка? Или число песчинок, недоступное человеческому уму?

Разве, наконец, не было полным тайны видение взбунтовавшегося броненосца, появившегося однажды очень далеко в море?

Его появлению предшествовал пожар в одесском порту. Зарево было видно за сорок верст. Тотчас разнесся слух, что это горит эстакада.

Затем было произнесено слово: «Потемкин».

Несколько раз, таинственный и одинокий, появлялся мятежный броненосец на горизонте в виду бессарабских берегов.

Батраки бросали работу на фермах и выходили к обрывам, старались разглядеть далекий дымок. Иногда им казалось, что они его видят. Тогда они срывали с себя фуражки и рубахи и, с яростью размахивая ими, приветствовали инсургентов.

Но Петя, как ни щурился, как ни напрягал зрение, по совести говоря, ничего не видел в пустыне моря.

Только однажды, в подзорную трубу, которую ему удалось выпросить на минуточку у одного мальчика, он разглядел светло-зеленый силуэт трехтрубного броненосца с красным флажком на мачте.

Корабль быстро шел на запад, в сторону Румынии.

А на другой день горизонт вдруг покрывлся низким, сумрачным дымом. Это вся черноморская эскадра шла по следу «Потемкина».

Рыбаки, приплывшие из гирла Дуная на своих больших черных лодках, привезли слух о том, что «Потемкин» пришел в Констанцу, где ему пришлось сдать румынскому правительству. Команда высадилась на берег и разошлась — кто куда.

Прошло еще несколько тревожных дней.

И вот на рассвете горизонт снова покрывлся дымом.

Это шла назад из Констанцы в Севастополь черноморская эскадра, таща на буксире, как на аркане, схваченного мятежника.

Пустой, без команды, с машинами, залитыми водой, со спущенным флагом восстания, тяжело ныряя в острой зыби, «Потемкин» медленно двигался, окруженный тесным конвоем дыма. Он долго шел мимо высоких обрывов Бессарабии, откуда молча смотрели ему вслед рабочие с экономии, солдаты пограничной стражи, рыбаки, батрачки... Смотрели до тех пор, пока эскадра не скрылась из глаз. И опять стало море таким ласковым и тихим, будто его облили синим маслом.

Между тем на степных дорогах появились отряды конных стражников, высланных к границе Румынии на поимку беглых потемкинцев.

...Петя решил на прощанье наскоро выкупаться.

Но едва он, разбежавшись, бултыхнулся в море и поплыл на бок, расталкивая прохладную воду коричневым атласным плечиком, как тотчас забыл все на свете.

Сперва, переплыв прибрежную глубину, Петя добрался до первой мели. Он взошел на нее и стал прогуливаться по колено в воде, разглядывая сквозь прозрачную толщу отчетливую чешую песчаного дна.

На первый взгляд могло показаться, что дно необитаемо. Но стоило только хорошенько присмотреться, как в морщинах песка обнаруживалась жизнь. Там передвигались, то появляясь, то зарываясь в песок, крошечные кувшинчики рака-отшельника. Петя достал со дна один такой кувшинчик и ловко выдернул из него ракообразное — даже были крошечные клешни! — тельце моллюска.

Девочки любили нанизывать эти ракушечки на суровую нитку. Получались превосходные бусы. Но это было не мужское занятие.

Потом мальчик заметил в воде медузу и погнался за ней. Медуза висела прозрачным абажуром с кистью таких же прозрачных щупалец. Казалось, что она висит неподвижно. Но это только казалось. Тонкие закраины ее толстого купола дышали и волновались синей желатиновой каймой, как края парашюта. Щупальца шевелились. Она косо уходила вглубь, как бы чувствуя приближающуюся опасность.

Но Петя настиг ее. Осторожно — чтобы не прикоснуться к ядовитой кайме, обжигающей, как крапива, — мальчик обеими руками схватил медузу за купол и вытащил увесистое, но непрочное ее тело из воды. Он с силой зашвырнул животное на берег.

Роняя на лету оторвавшиеся щупальца, медуза шлепнулась на мокрый песок. Солнце тотчас зажглось в ее слизи серебряной звездой.

Петя испустил вопль восторга и, ринувшись с мели в глубину, занялся своим любимым делом — стал нырять с открытыми глазами.

Какое это было упоение!

На глубине перед изумленно раскрытыми глазами мальчика возник дивный мир подводного царства. Сквозь толщу воды, увеличенные, как в лупу, были явственно видны разноцветные камешки гравия. Они покрывали дно, как булыжная мостовая.

Стебли подводных растений составляли сказочный лес, пронизанный сверху мутно-зелеными лучами солнца, бледного, как месяц.

Среди корней, рогами расставив страшные клешни, проворно пробирался боком большой старый краб. Он нес на своих паучьих ногах дутую коробочку спины, покрытую известковыми бородавками моллюсков.

Петя ничуть его не испугался. Он хорошо знал, как надо обращаться с крабами. Их надо смело хватать двумя пальцами сверху за спину. Тогда краб никак не сможет ущипнуть.

Впрочем, краб не заинтересовал мальчика. Пусть себе ползет, не велика редкость. Весь пляж был усеян сухими клешнями и багровыми скорлупками спинок.

Гораздо интереснее казались морские коньки.

Как раз небольшая их стайка появилась среди водорослей. С точеными мордочками и грудками — ни дать ни взять шахматный конь, но только с хвостиком, закрученным вперед, — они плыли стоймя, прямо на Петю, распушив перепончатые плавники крошечных подводных драконов.

Как видно, они совсем не предполагали, что могут в такой ранний час наткнуться на охотника.

Сердце мальчика забилося от радости. У него в коллекции был всего один морской конек, и то какой-то сморщенный, трухлявый. А эти были крупные, красивые, один в одного.

Было бы безумием пропустить такой исключительный случай.

Петя вынырнул на поверхность, чтобы набрать побольше воздуха и поскорее начать охоту. Но вдруг он увидел на обрыве отца.

Отец размахивал соломенной шляпой и что-то кричал.

Обрыв был так высок и голос так гулко отдавался в обрыве, что до Пети долетело только раскатистое:

— ...дядь-дядь-дядь-дядь!..

Однако Петя очень хорошо понял значение этого «дядь-дядь-дядь». Оно значило следующее:

— Куда ты провалился, гадкий мальчишка? Я тебя ищу по всей даче! Дилижанс ждет!.. Ты хочешь, чтобы мы из-за тебя опоздали на пароход? Сейчас же вылезай из воды, негодяй!

Голос отца вернул Петю к горькому чувству разлуки, с которым он встал сегодня. И мальчик закричал таким отчаянно громким голосом, что у него зазвенело в ушах:

— Сейчас иду! Сейчас!

А в обрыве отдалось раскатистое:

— ...айс-айс-айс!..

Петя быстро надел костюм прямо на мокрое тело — что, надо признаться, было очень приятно — и стал взбираться наверх.

3. В СТЕПИ

Дилижанс уже стоял на дороге против ворот. Кучер, взобравшись на колесо, привязывал к крыше складные парусиновые кровати уезжающих дачников и круглые корзины с синими баклажанами, которые, пользуясь случаем, отправляли из экономии в Аккерман.

Маленький Павлик, одетый по случаю путешествия в новый голубой фартучек, в туго накрахмаленной пикейной шляпке, похожей на формочку для желе, стоял в предусмотрительном отдалении от лошадей, глубокомысленно изучая все подробности их упряжи.

Его безмерно удивляло, что эта упряжь, настоящая упряжь настоящих, живых лошадей, так явно не похожа по своему устройству на упряжь его прекрасной картонной лошади Кудлатки. (Кудлатку не взяли с собой на дачу, и она теперь дожидалась своего хозяина в Одессе.)

Вероятно, приказчик, продавший Кудлатку, что-нибудь да перепутал!

Во всяком случае, нужно будет не забыть немедленно по приезде попросить папу вырезать из чего-нибудь и пришить к ее глазам эти черные, очень красивые заслонки — неизвестно, как они называются.

Вспомнив таким образом про Кудлатку, Павлик почувствовал беспокойство. Как она там без него живет в чулане? Дает ли ей тетя овес и сено? Не отъели ли у нее мыши хвост? Правда, хвоста у нее осталось уже маловато: два-три волоска да обойный гвоздик, — но все-таки.

Чувствуя страшное нетерпение, Павлик высунул набок язык и побежал к дому, чтобы поторопить папу и Петю.

Но, как его ни беспокоила участь Кудлатки, все же он ни на минуту не забывал о своей новой дорожной сумочке, висящей через плечо на тесемке. Он крепко держался за нее обеими ручонками.

Там, кроме плитки шоколада и нескольких соленых галетиков «Капитэн», лежала главная его драгоценность: копилка, сделанная из жестянки «Какао Эйнем». Там хранились деньги, которые Павлик собирал на покупку велосипеда.

Денег было уже довольно много: копеек тридцать восемь — тридцать девять...

Папа и Петя, наевшиеся парного молока с серым пшеничным хлебом, уже шли к дилижансу.

Петя бережно нес под мышкой свои драгоценности: банку с заспиртованными морскими иглами и коллекции бабочек, жуков, ракушек и крабов.

Все трое сердечно простились с хозяевами, вышедшими их проводить к воротам, уселись в дилижанс и поехали.

Дорога огибала ферму.

Дилижанс, гремя подвязанным ведром, проехал мимо фруктового сада, мимо беседки, мимо скотного и птичьего дворов. Наконец он поравнялся с гарманом, то есть с той ровной, хорошо убитой площадкой, на которой молотят и веют хлеб. В Средней России такая площадка называется ток, а в Бессарабии — гарман.

За дорожным валом, густо поросшим седой от пыли дерезой со множеством продолговатых капелек желтовато-алых ягод, сразу же начинался соломенный мир гармана. Скирды старой и повой соломы, большие и высокие, как дома, образовали целый город. Здесь были настоящие улицы, переулки и тупики. Кое-где под слоистыми, почти черными стенами очень старой соломы, пробиваясь из плотной, как бы чугунной земли, горели изумрудные фитильки пшеничных ростков изумительной чистоты и яркости.

Из трубы парового двигателя валил густой опаловый дым. Слышался воющий гул невидимой молотилки. Маленькие бабы с вилами ходили на верхушке новой скирды по колено в пшенице.

Тени хлеба, переносимого на вилах, летали по туче половы, пробитой косыми, движущимися балками солнечного света. Мелькнули мешки, весы, гири.

Потом проплыл высокий холм только что намолоченного зерна, покрытого брезентом.

И дилижанс выехал в открытую степь.

Одним словом, все было сначала так же, как и в прошлые годы. Открытое вокруг на десятки верст пустынное жнивье. Одинокий курган. Слюдяной блеск лиловых иммортелей. Присевший возле своей норки суслик. Кусок веревки, похожей на раздавленную гадюку...

Но вдруг впереди показалась пыль, и мимо дилижанса крупной прысью проехал небольшой отряд конных стражников.

— Стой!

Дилижанс остановился.

Один из всадников подъехал к дилижансу.

Короткий ствол карабина прыгал над зеленым погоном с цифрой. Прыгала пыльная фуражка набекрень. Скрипело и горячо воняло кожей седло.

Храпящая морда лошади остановилась на уровне открытого окна. Крупные зубы грызли белое железо мундштука. Травянисто-зеленая пена капала с черных, как бы резиновых губ. Из нежных, телесно-розовых ноздрей вылетало горячее дыхание, обдавая паром сидящих в дилижансе.

Черные губы потянулись к соломенной шляпе Пети.

— Кого везешь? — раздался где-то вверху солдатский голос.

— Дачников на пароход, — ответил неузнаваемо тонкий, поспешный, какой-то угодливый голос кучера. — Они в Аккерман едут, а там прямо на пароход — и в Одессу. Они тута в экономии все лето жили. С самого начала июня. Теперь они едут обратно до дому...

— А ну, покажь!

И с этими словами в окно заглянуло красное, желтоусое и желтобородое солдатское лицо с жестко выскобленным подбородком и с овальной кокардой на зеленом околыше фуражки.

— Кто такие?

— Дачники, — сказал, улыбаясь, отец.

Солдату, видно, не понравилась эта улыбка и это слишком вольное слово «дачники», показавшееся ему насмешкой.

— Я вижу, что дачники, — с грубым неудовольствием сказал он. — Мало что дачники! А кто такие — дачники?

Нижняя челюсть у отца дрогнула, бородка запрыгала. Побледнев от негодования, он дрожащими пальцами застегнул на все пуговицы летнее пальто, поправил пенсне и резким фальцетом закричал:

— Как вы смеете говорить со мной в таком тоне? Я преподаватель среднеучебных заведений, коллежский советник Бачей, а это мои дети — Петр и Павел. Мы направляемся в Одессу.

На лбу у отца выступили розовые пятна.

— Виноват, ваше высокоблагородие, — бодро сказал солдат, вытупив почти белые глаза, и поднес руку с нагайкой к козырьку. — Обознался!

Как видно, он был смертельно перепуган, услышав хоть до сих пор ему и неизвестный, но столь грозный штатский чин — «коллежский советник».

Ну его к богу! Еще нарвешься на неприятность. Еще но зубам заработаешь.

Он дал лошади шпоры и ускакал.

— Дурак, — сказал Петя, когда солдаты были уже далеко.

Отец снова вскипятился:

— Замолчи! Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не смел произносить этого слова! Тот, кто часто говорит «дурак», чаще всего сам... не слишком умный человек. Заруби это себе на носу.

В другое время Петя, конечно, полез бы в спор, но сейчас он смолчал. Он слишком хорошо понимал душевное состояние отца.

Отец, который всегда с раздражительным презрением говорил о чинах и орденах, который никогда не носил форменного вицмундира и никогда не надевал своей «Анны третьей степени», который не признавал никаких сословных привилегий и упрямо утверждал, что все жители России суть не что иное, как только «граждане», вдруг, в порыве раздражения, наговорил бог знает чего. И кому же? Первому встречному солдату...

«Преподаватель среднеучебных заведений»... «Коллежский советник»... «Как вы смеете говорить в таком тоне»... «Фу, какая ерунда! — говорило смущенное лицо отца. — Фу, как стыдно!»

Тем временем кучер, как это всегда бывает во время долгих поездок на лошадях, в общем замешательстве уже успел потерять ремешок кнута и ходил по дороге, шарпая кнутовищем по придорожным, седым от пыли кустикам полыни. Наконец он его нашел и привязал, затянув узел зубами.

— А, чтоб им пусто было! — сказал он, подходя к дилижансу. — Ездят эти стражники по всем дорогам и ездят, только людей пугают.

— Зачем ездят? — спросил отец.

— Кто их знает зачем. Ловят кого-нибудь чи шо. Тут позавчера, верст за тридцать, экономию помещика Балабанова спалили. Говорят, какой-то беглый матрос с «Потемкина» поджег. Так теперь они скрозь ездят и ловят того беглого матроса. Он, говорят, где-то тут по степу скрывается. Такие дела. Что ж, поедем?

С этими словами кучер влез на свое высокое место, разобрал вожжи, и дилижанс тронулся дальше.

Однако, как ни прекрасно было это утро, настроение у всех было уже испорчено.

Очевидно, в этом чудесном мире густого синего неба, покрытого дикими табунами белогривых облаков, в мире лиловых теней, волнисто бегущих с кургана на курган по степным травам, среди которых нет-нет да и мелькнут конский череп или воловьи рога, в мире, который был создан, казалось, исключительно для человеческой радости и счастья, — в этом мире не все обстояло благополучно.

И об этом думали в дилижансе и отец, и кучер, и Петя.

Только у одного Павлика были свои, особые мысли.

Крепко наморщив круглый кремовый лоб, на который спускалась из-под шляпки аккуратно подстриженная челка, мальчик сидел, сосредоточенно устремив в окно карие внимательные глаза.

— Папа... — сказал он вдруг, не отводя глаз от окна, — папа, а кто царь?

- То есть как это — кто царь?
— Ну — кто?
— Гм... Человек.
— Да нет же. Я сам знаю, что человек. Какой ты! Не человек, а кто? Понимаешь, *кто*?
— Не понимаю, что ты хочешь.
— Я тебя спрашиваю: *кто*?
— Вот, ей-богу... Кто да кто... Ну, если хочешь, помазанник.
— Чем помазанник?
— Что-о?
Отец строго посмотрел на сына.
— Ну — как: если помазанник, то чем? Понимаешь — *чем*?
— Не ерунди!
И отец сердито отвернулся.

4. ВОДОПОЙ

Часов в десять утра заехали в большое, наполовину молдавнское, наполовину украинское село «напувать» лошадей. Отец взял Павлика за руку, и они отправились покупать дыни. Петя же остался возле лошадей, с тем чтобы присутствовать при водопое.

Кучер подвел лошадей, тащивших за собой громоздкий вагон дилижанса, к кринице. Это был колодец, так называемый «журавель».

Кучер сунул кнут за голенище и поймал очень длинную, вертикально висящую палку, к концу которой была прикована на цепи тяжелая дубовая бадейка. Он стал, перебирая руками по палке, опускать ее в колодец. Журавель заскрипел. Один конец громадного коromptысла стал наклоняться, как бы желая заглянуть в колодец, в то время как другой — с привязанным для противовеса большим ноздреватым камнем — легко поднимался вверх.

Петя навалился грудью на борт криницы и посмотрел в нее, как в подзорную трубу.

Круглая шахта, выложенная булыжником, покрытая глухим темно-коричневым бархатом плесени, уходила далеко вглубь. И там, в холодной темноте, блестел маленький кружочек воды с фотографически четким отражением Петиной шляпы.

Мальчик крикнул, и колодец, как глиняный кувшин, наполнился гулким шумом.

Бадейка очень далеко шла вниз, стала совсем маленькой, а все никак не могла дойти до воды. Наконец раздался далекий всплеск. Бадейка погрузилась в воду, захлебнулась и пошла вверх.

Увесистые капли шлепались в воду. Они стреляли, как пистоны. Долго шла, поднимаясь, палка, натертая множеством рук, как стекло, пока наконец не появилась мокрая цепь.

Журавель скрипнул в последний раз. Кучер сильными руками подхватил пудовую бадейку и вылил в каменную колоду. Но, прежде чем вылить, напился из нее сам. После кучера напился и Петя. Именно в этом-то и заключалась главная прелесть водопоя.

Мальчик окунул нос и подбородок в совершенно прозрачную, холодную, как лед, воду. Бадейка изнутри обросла зеленой бородой тины. Что-то жуткое, почти колдовское было в этой бадейке и в этой тине. Что-то очень древнее, удельное, лесное, говорившее детскому воображению о водяной мельнице, колдуне-мельнике, омуте и царевне-лягушке.

От ледяной воды сразу стало ломить лоб. Но день был горяч. И Петя знал, что эта боль скоро пройдет.

Петя очень хорошо знал также, что надобно ведер восемь-десять, для того чтобы напоить лошадей. На это уйдет по меньшей мере полчаса. Можно погулять.

Мальчик осторожно пробрался через черную, как вакса, грязь водопоя, сплошь истыканную свиными копытцами. Затем пошел вдоль водостока, по лужку, покрытому гусиным пухом.

Водосток привел его к болотцу, сплошь заросшему высоким лесом камыша, осоки и сорняков.

Здесь даже в самый яркий полдень была сумрачная прохлада. Множество одуряющих запахов резко ударило в нос.

Особый, очень острый запах осоки смешивался со сладкой, какой-то ореховой вонью болиголова, от которой действительно начинала болеть голова.

Остролистые кустики дурмана, покрытые черно-зелеными коробочками с мясистыми колючками и длинными, необыкновенно нежными и необыкновенно белыми вонючими цветами, росли рядом с пасленом, беленой и таинственной сон-травой.

На тропинке сидела большая лягушка с закрытыми глазами, как заколдованная, и Петя изо всех сил старался на нее не смотреть, чтобы вдруг не увидеть на ее голове маленькую золотую корону.

Вообще все казалось здесь заколдованным, как в сказочном лесу.

Не здесь ли бродила где-нибудь поблизости худенькая большеглазая Аленушка, безутешно оплакивая своего братика Иванушку?..

И если бы вдруг из чащи выбежал белый барашек и замекал детским, тоненьким голоском, то, вероятно, Петя лишился бы чувств от страха.

Мальчик решил не думать о барашке. Но чем больше он старался не думать, тем больше думал. А чем больше думал, тем становилось ему страшнее одному в черной зелени этого проклятого места.

Он изо всех сил зажмурился, чтобы не закричать, и бросился вон из ядовитых зарослей. Он бежал до тех пор, пока не очутился на задах небольшого хозяйства.

За плетнем, на котором торчало множество глиняных кувшинов, Петя увидел уютный гарман. Посредине его маленькой арены, устланной свежей, только что с поля, пшеницей, стояла повязанная бабьим платком до глаз девочка лет одиннадцати в длинной сборчатой юбке и короткой ситцевой кофточке с пышными рукавами.

Закрываясь от солнца локтем и переступая босыми ногами, она гоняла на длинной веревке по кругу двух лошаaddock, запряженных цугом. Мягко разбрасывая копытами солому, лошадки катили за собой по толстому слою блестящей пшеницы рубчатый каменный валик. Он твердо и бесшумно подпрыгивал.

За каменным валиком волоклась довольно широкая доска, загнутая спереди, как лыжа.

Петя знал, что в нижнюю поверхность этой доски врезано множество острых янтарных кремней, особенно чисто выбивающих из колоса зерно.

На этой быстро скользящей доске, с трудом сохраняя равновесие, лихо, как на салазках, стоял парнишка Петиных лет в расстегнутой вылинявшей рубахе и картузе козырьком на ухо.

Крошечная белоголовая девочка, судорожно ухватившись обеими ручонками за штанину брата, сидела у его ног на корточках, как мышка.

По кругу бегал старик, шевеля деревянными вилами пшеницу и подбрасывая ее под ноги лошадям. Старуха подравнивала длинной доской на палке рассыпающийся и теряющий форму круг.

Немного поодаль, у скирды, баба с черными от солнца, жилистыми, как у мужчины, руками с натугой крутила шарманку веялки. В круглом отверстии барабана мелькали красные лопасти.

Ветер выносил из веялки блестящую тучу половы. Она легко и воздушно, как кисея, оседала на землю, на бурьян, достигала огорода, где над подсохшей ботвой совершенно созревших, желто-красных степных помидоров торчало, раскинув лохмотья, пугало в равной дворянской фуражке с красным околышем.

Здесь, на этом маленьком гармане, как видно, работала вся крестьянская семья, кроме самого хозяина. Хозяин, конечно, был на войне, в Маньчжурии, и, очень возможно, в это время сидел в гаоляне, а японцы стреляли в него шимозами.

Эта бедная кропотливая молотьба была совсем не похожа на шумную, богатую, многолюдную молотьбу, к которой привык Петя в экономии. Но и в этой скромной молотьбе Петя тоже находил прелесть. Ему бы, например, очень хотелось покататься на доске с кремнями или даже, на худой конец, покрутить ручку веялки. И он в другое время обязательно попросил бы хлопчика взять его с собой на доску, но, к сожалению, надо было торопиться.

Петя пошел обратно.

Ему навсегда запомнились все простые, трогательные подробности крестьянского труда: светлый блеск новой соломы; чисто выбеленная задняя стена мазанки; по ней — тряпичные куклы и маленькие, высушенные тыквочки, так называемые «таракуцки», эти единственные игрушки крестьянских детей, а на гребне камышовой крыши — аист на одной ноге рядом со своим большим небрежным гнездом.

Особенно запомнился аист, его кургузый пиджачок с пикейной жилеткой, красная трость ноги (другой, поджатой ноги совсем не было видно) и длинный красный клюв, деревянно щелкавший наподобие колотушки ночного сторожа.

Возле хаты с синенькой вывеской «Волостное правление» стояли привязанные к столбикам крыльца три оседланные кавалерийские лошади.

Солдат с шашкой между колен, в пыльных сапогах сидел на ступеньках в холодке и курил махорку, закрученную в газетную бумажку.

— Послушайте, что вы здесь делаете? — спросил Петя.

Солдат лениво оглядел городского мальчика с ног до головы, пустил сквозь зубы далеко вбок длинную вожжу желтой слюны и равнодушно сказал:

— Матроса ловим.

«Что же это за таинственный, страшный матрос, который скрывается где-то тут поблизости, в степи, который поджигает экономии и которого ловят солдаты? — думал Петя, спускаясь по знойной, пыльной улице в балочку, к кринице. — Может быть, этот страшный разбойник нападает на дилижансы?»

Разумеется, Петя ничего не сказал о своих опасениях отцу и брату. Зачем понапрасну волновать людей? Но сам он предпочел быть настороже и предусмотрительно засунул коллекции под скамейку, поближе к стенке.

Едва дилижанс тронулся и стал подыматься в гору, мальчик прильнул к окну и принялся не отрываясь смотреть по сторонам, не

покажется ли где-нибудь из-за поворота разбойник. Он твердо решил до самого города ни за что не покидать своего поста.

Тем временем отец и Павлик, очевидно и не подозревавшие об опасности, занялись дыней.

В суровой полотняной наволоке с вышитыми по углам четырьмя букетами, полинявшими от стирок, лежал десяток купленных по копейке дынь. Отец вытащил одну — крепенькую, серовато-зеленую канталупку, всю покрытую тончайшей сеткой трещин, и, сказав: «А ну-ка, попробуем этих знаменитых дынь», аккуратно разрезал ее вдоль и раскрыл, как писанку. Чудесное благоухание наполнило дилижанс.

Отец подрезал внутренности дыни перочинным ножичком и ловким, сильным движением выхлестнул их в окно. Затем разделил дыню на тонкие аппетитные скибки и, уложив их на чистый носовой платок, заметил:

— Кажется, недурственная дынька.

Павлик, нетерпеливо ерзавший на месте, тотчас схватил обеими ручонками самую большую скибку и ввелся в нее по уши. Он даже засопел от наслаждения, и мутные капли сока повисли у него на подбородке.

Отец же аккуратно положил в рот небольшой кусочек, пожевал его, сладко зажмурился и сказал:

— Действительно замечательно!

— Наслаждец! — подтвердил Павлик.

Тут Петя, у которого за спиной происходили все эти невыносимые вещи, не выдержал и, забыв про опасность, кинулся к дыне.

5. БЕГЛЕЦ

Верст за десять до Аккермана начались виноградники. Уже давно и дыню съели, и корки выбросили в окно. Становилось скучно. Время подошло к полудню.

Легкий утренний ветер, свежестью своей напоминавший, что дело все-таки идет к осени, теперь совершенно упал. Солнце жгло, как в середине июля, даже как-то жарче, суше, шире.

Лошади с трудом тащили громоздкий дилижанс по песку глубокой по крайней мере в три четверти аршина. Передние — маленькие — колеса зарывались в него по втулку. Задние — большие — медленно виляли, с хрустом давя попадавшие в песок синие раковины мидий.

СОДЕРЖАНИЕ

ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ. <i>Тетралогия</i>	
Часть первая. Белеет парус одинокий	7
Часть вторая. Хуторок в степи	236
Часть третья. Зимний ветер	498
Часть четвертая. Катакомбы	736
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА. <i>Повесть</i>	1071